

## Трансформация социальной нормы в переходный период и психические расстройства\*

Общие последствия метаморфоз безусловны и хорошо известны: дезориентация и недоумение, ощущение хаоса и противоречия, попытка восстановить некое подобие порядка и осмысленной перспективы.

... При благоприятных обстоятельствах эта ситуация может привести к попытке установить систематические критерии того, что следует и что не следует принимать в восстанавливаемый порядок, в обновленный образ самого себя.

Э. Геллнер. Понятие перехода [1]

Что происходит с представлением о социальной норме в ситуации радикальной трансформации общества? Откуда, собственно, возникают новые стандарты нормативного поведения и принятия решений? Кажется не случайным, что именно русский психоаналитик Н. Осипов в 1931 году предложил концепцию революции как *сновидения*, т.е. не просто специфического, "искаженного" состояния бодрствования, а принципиально иного модуса бытия. Осипов пережил на своем веку три революции, и за его предположением помимо научной гипотезы стоял личный опыт очевидца и участника. Подобно тому как сон - реализация подавленных ("аномальных") желаний, революция у него оказывается моментом максимального проявления подавленных социальных стремлений (и исчезновения прежней конвенционной нормальности). Значит, революция, как и сон, нуждается в *интерпретации* (во фрейдовском смысле) [2, с. 267].

Даже если допустить плодотворность психоаналитического подхода при изучении социальных (а не только психических) конфликтов, невозможно обойти стороной изначальный вопрос: что, собственно, считать революцией? Иными словами, что интерпретировать: сам момент социального взрыва или следующий за ним относительно мирный *переходный период*, когда "подавленные социальные стремления" как раз и получают (или не получают) практическое воплощение? Ведь революция, понимаемая буквально как общественное потрясение, - лишь кульминация старых (и одновременно момент рождения новых) сложных социокультурных процессов. А потому интерпретация самого момента восстания явно невозможна без понимания того, что было до и после "невротического взрыва" революции.

Подобно человеку, пережившему острый идейный и психологический кризис, переходное послереволюционное общество чувствует себя незащищенным, слабым, неспособным справиться с обрушившейся на него лавиной новой информации. С точки зре-

---

\* Исследование выполнено при поддержке Международного научного фонда.

ния утраченной гармонии "старого режима" (а также с позиции заново обретенных норм) переходное общество - *больное* общество. И это не просто господствующий в обыденном сознании стереотип. Эмпирически кажется очевидным, что в переходные периоды в обществе возрастает процент душевнобольных (или считающихся таковыми) людей. Во всяком случае, фигура ненормального оказывается *семиотически отмеченной*, притягивает к себе повышенное внимание, становится навязчиво заметной.

Наиболее распространенный и в то же время наименее определенный диагноз в современной психиатрии - шизофрения - не раз использовался в качестве медицинской метафоры революционных преобразований общества в Новое время. "Шизофренические заболевания вообще не существовали, по крайней мере в значительном количестве, до конца XVIII - начала XIX века, - указывает исследователь этой проблемы Л. Сесс. - Таким образом, их возникновение надо связывать с чрезвычайно интенсивным периодом перемен в направлении индустриализации в Европе, временем глубокой перестройки традиционного общинного образа жизни, отступившего перед лицом более деперсонифицированных и атомизированных форм социальной организации..." [3, р. 364].

Если революция - это разрыв с традицией, с тем, что раньше определяло норму, то послереволюционные переходные периоды представляют как этапы осмысления этого разрыва. Один современный ученый предложил очень удачную характеристику этих периодов, когда "мы перестаем просто существовать в теле или внутри наших традиций и привычек и, превращая их в объекты рефлексии, подвергаем их радикальному пересмотру и переделыванию" [4].

Растождествление с собой, осмысление себя глазами своего Я? Безусловно, это коллизия переходного периода. Более того, характер самой рефлексии и соответствующих ей психозов могут, в свою очередь, служить показателями степени модернизации общества. Сравнительные исследования психиатрических заболеваний в развивающихся странах и в передовых обществах Запада приводят к выводу, что на Западе сегодня очевидно уменьшение числа социально окрашенных психозов, столь распространенных в развивающемся мире [3, р. 366]. Можно предположить, что *политизированные психозы* не менее интересны для историка, чем, скажем, содержание снов для психоаналитика. Их изучение позволяет проникнуть не только в общественное подсознание (З. Фрейд), но и пробраться к базовым архетипам, определяющим лицо общества и его культуры (К. Юнг). В равной мере - ее здоровых и больных элементов.

### **Одна Россия - две нормы, две семисферы**

В 1912 году известный российский психиатр академик В. Бехтерев жаловался, что психиатрические клиники в стране переполнены как никогда ранее. Корни этого патологического явления Бехтерев искал в русской революции 1905-1907 годов и в переживании обществом ее последствий [5]. Он говорил о психиатрических заболеваниях как общественном феномене, а представители далекой от психиатрии профессии - журналисты - в свою очередь, констатировали, что современная общественная ситуация способствует росту числа душевных недугов. Едва ли когда-нибудь русское общество и в особенности та часть его, которая именуется интеллигенцией, писал Н. Гредескул, переживали такой смутный и такой тягостный для них исторический момент, как в настоящее время. Наше собственное настроение проникнуто теперь таким глубоким упадком духа, какого тщетно было бы искать во всем нашем "идейном" прошлом. Это настроение граничит с отчаянием [6].

Можно сказать, что таким было общее восприятие переходного периода, последовавшего за революцией 1905-1907 годов. Россия пыталась разобраться в своем "идейном прошлом", где нормой казалось существование двух параллельных миров (идеологий, систем ценностей, философий, "мифологий" и т.д.) - России *подпольной* и России *легальной* [7].

**Извлечения из "Списка лошадей, бежавших и выигравших на всех ипподромах России с 1 января 1901 года по 1 апреля 1909 года" [8]**

Имя лошади	Год присвоения имени	Местонахождение ипподрома	Имя лошади	Год присвоения имени	Местонахождение ипподрома
Баррикада	1905	Москва	Заговорщи	1905	Москва
Бомба	1900	Тула	Идея	1905	Санкт-
Бомба	1905	Москва	Партия	1906	Москва
Бомба	1905	Москва	Провокато	1906	Москва
Жертва	1905	Томск	Радикал	1905	Троицк
Забастовщ	1905	Москва	Террор	1907	Москва

Насколько этот раскол являлся неотделимой частью жизни страны накануне 1905 года и в то же время насколько тесно обе России были переплетены, свидетельствует уровень взаимопроникновения двух миров. Представители легальной России - промышленники, видные бюрократы, преподаватели вузов, адвокаты и т.д. - давали деньги "на революцию", прятали нелегальных "политических", предоставляли сведения террористам о маршрутах царя, бесплатно выступали в судах. Одним словом, подпитывали подполье как могли. В то же время революционеры зависели от признания легальной России, изучали и заимствовали методы политической полиции и других государственных военизированных структур и т.п. Даже далекий от политики обыватель попадал в поле притяжения подпольной России. Скажем, бега - совершенно невинная забава (в отношении политической благонадежности), популярное развлечение, с революционной идеологией ничего общего не имеющее, тем не менее... (см. табл.).

Все эти лошадиные клички заимствованы из словаря подпольной России. Где же тогда проходила линия демаркации, разделявшая два параллельных мира? В определенных случаях эта линия была очевидна, в иных найти ее почти нереально. Видимо, подпольную Россию можно изучать только как сложный комплекс структур и организаций, идей и ценностей, находящихся в динамическом равновесии. Ю. Лотман предложил понятие "семиосфера", которое, на мой взгляд, способно корректно описать это противоречивое единство [9]. В трудах Лотмана семиосфера предстает как открытая система, состоящая из гетерогенных элементов, обладающая внутренней асимметрией и испытывающая постоянное давление извне. Эта модель объясняет странное единство, в котором существовали элементы мира подпольной России. Его ядро формировали политические партии, идеологии радикализма, подпольные организации, профессиональные революционеры. Именно ядерные структуры поддерживали единство подполья, создавали его метаязык, обеспечивали саморефлексию. Они вырабатывали и воплощали собой норму семиосферы, которая обеспечивала единство и взаимодействие ядра и менее однородной периферии.

Норма, а точнее, *нормативное послание*, информация, циркулирующая между элементами семиосферы, являлась сигналом, который предполагал адекватную реакцию и интерпретацию всеми участниками семиосферы, тем самым обеспечивая ее единство. Таким образом, норма играла роль аттрактора, вокруг которого выстраивалось равновесие всех элементов. Для отдельного представителя подпольной России это нормативное послание оказывалось определяющим элементом индивидуального сознания, строившегося по принципу отождествления "Я" и МЫ". Коллективное МЫ и было в данном случае МЫ подпольной России.

В отличие от достаточно гибкой общепринятой нормы России легальной, подполье генерировало особое нормативное послание: однозначное и тотальное. Оно регулировало широкий спектр поведенческих стратегий и ценностей, эстетических, этических и философских идеалов, круг чтения, представления о том, "что такое хорошо и что такое плохо", и т.п. Герои из ядерных сфер подпольной России (скажем,

М. Спиридонова) являлись абсолютным воплощением нормы<sup>1</sup>, в то время как для тысяч представителей периферии подполья (для тех, кто молился на портрет Спиридоновой, посвящал ей стихи, называл в честь ее дочерей и т.п.) подобное соответствие норме оказалось идеалом. Не случайно именно гегельянство сыграло столь важную роль в формировании радикального этоса в России. Радикальный микрокосм вполне соответствовал модели Универсума, созданной немецким философом, ибо Универсум, представляемый как иерархическое, многоступенчатое и многоуровневое воплощение абсолютной идеи, как раз и был миром подпольной России с ее нормативным (идеальным) ядром и ориентированной на него периферией.

Подобно любой тотальной норме, норма подпольной России не была способна к частичной модификации и саморазвитию. Она представляла собой законченную модель мироздания. Парадоксы и сомнения не допускались в этом мире, ибо они угрожали его тотальности. Накануне Первой русской революции лишь немногие были способны увидеть роковое противоречие нормативного героя подполья - революционера-террориста. Он ведь не только отдавал свою жизнь за счастье народа, он еще и *убивал*. Несмотря на это, подпольная Россия предписывала воспринимать его исключительно как жертву, и, соответственно, идеальный образ героя создавался именно как жертвенный образ. Проблема убийства стала видимой только после революционного кризиса 1905-1907 годов, как только это произошло, идеальный герой как образец и кумир рухнул. Этот герой - законченное воплощение нормы подпольной России - мог существовать только во всей своей целостности и непротиворечивости.

Революция 1905-1907 годов взорвала границы между подпольной и легальной Россией, между двумя семиосферами. Периферические, пограничные области обеих семиосфер стали входить в контакт: освобождаясь от безусловной зависимости, от ядра, они образовали некое новое, "ничейное" единое пространство, где проходили информационный обмен и взаимодействие ранее антагонистических миров. Страна ощутила себя культурно более единой, но в ущерб каждой из взаимодействующих семиосфер. Норма подпольной России строилась на полном противопоставлении России легальной, а при ближайшем рассмотрении оказалось, что с обеих сторон проливают кровь, не гнушаются насилия и грабежа, дезинформации и провокации. Для тех, кто ранее представлял подпольную Россию в художественных образах и отвлеченных социологических категориях, ее истинное лицо оказалось неприемлемым. Ядро семиосферы подполья продолжало генерировать все то же нормативное послание, но на периферии оно больше не находило адекватного отклика. Назывался прежний "пароль", а в ответ - молчание, замешательство... Система работала со сбоями, а ведь это было очень опасным симптомом - симптомом распада былой целостности этой семиосферы.

### **Жизнь без нормы: аномалия или безумие?**

Итак, революция 1905-1907 годов явилась моментом столкновения двух норм - нормы легальной России и ее подпольного Зазеркалья. Они встретились как "плюс" и "минус" с закономерным результатом - взаимной аннигиляцией, исчезновением

---

<sup>1</sup> Высшая "нормативность" Спиридоновой подтверждается всей ее жизнью, каждым ее письмом, каждым словом. "Я забыла вам сказать еще, - писала она товарищам из тюрьмы, - принадлежность к партии с-р-ов понимается мною не только как безусловное признание ее программы и тактики, а гораздо полнее. По-моему, это значит отдать всю жизнь, все помыслы и чувства на осуществление идеи партии в жизни; это значит не иметь ничего вне интересов партии и ее идеалов; это значит каждой минутой своей жизни распоряжаться так, чтобы дело от этого выигрывало. При таком взгляде я лично распоряжаться своей жизнью не имею права, и поэтому я, как господин А., готовый писать стихи по решению с-р-ов, подчиняю ее всякому вашему решению, потому что компетенция организации в обсуждении интересов дела всегда выше компетенции отдельного человека...". (Из неопубликованных писем Марии Спиридоновой, полученных из тюрьмы после объявления ей приговора суда.) [10].

самого феномена нормы как такового. Свидетельства этой катастрофы можно обнаружить в частных письмах и дневниковых записях эпохи, но наиболее полное отражение она получила в массовой беллетристике. Беллетристика существовала на границе между двумя мирами, причастная двум семиосферам, она выполняла функцию переводчика и связного. Свидетельства кризиса идеологии терроризма и нормативного героя, новые претенденты на его пьедестал, развенчанные мифы радикализма (миф о ссылке, миф об эмиграции и т.п.) - все это впервые появилось на страницах беллетристических и поэтических произведений, а потом уже переключалось в публицистику и философские эссе.

Может показаться парадоксальным, что беллетристика этого времени (зачастую весьма невысокого художественного достоинства) - столь же ценное свидетельство исчезновения нормы, как и отчеты психиатров. Но для современников описываемых событий никакого парадокса тут не было. Интеллигентская традиция требовала от литературы правдивого отражения реальности. И что поделать, если реальность потеряла признаки *нормальности*?!

Читатели 1906 года понимали, почему, скажем, Л. Зиновьева-Аннибал в рассказе "Помогите вы" (1906) в качестве главного героя избрала психически больного человека, а в качестве единственной "реальности" описала содержание его бреда [11]. Вначале больному видится, что он террорист, бросающий бомбу. Но оказывается, что от взрыва погибли не только "враги", но и невинные люди. Затем он подавляет народный бунт, теперь уже на стороне правительства. Обе роли воспринимаются как равнозначные. В воспаленном мозгу героя они не дифференцированы в соответствии с нормативным каноном на "хорошую" и "плохую".

Совершенно тот же прием использовал И. Вольнов в рассказе "Как это было" (рассказ написан приблизительно в 1909 году) [12]. Его герой - молодой социал-демократ — перенес в тюрьме глубокий психологический шок и теперь периодически теряет рассудок. В нем живут два человека: "нормальный" все еще принадлежит миру подпольной России, в то время как "ненормальный" больше не верит в старые идеалы и бредит прямо-таки языком авторов сборника "Вехи".

Подобные герои являлись не только альтернативой прежнему цельному нормативному герою и не только удачным художественным осмыслением послереволюционной ситуации с ее идейным разбродом и шатаниями. Людей с шизофренически раздвоенным сознанием, потерявших ориентиры в жизни, становилось все больше. К сожалению, происходило это не только в мире художественного вымысла, но и в реальности. В интервью журналу "Мир" Л. Андреев рассказал историю одного своего посетителя. В пересказе корреспондента журнала она выглядела так: это "молодой интеллигент, мозг его не выдержал жестокостей безвременья, и ему все кажется, что *они* его преследуют, внушают разные идеи, то крайне революционные, то, наоборот, крайне реакционные, что вот-вот *они* его арестуют, и он приехал за советом и помощью к Андрееву" [13].

Писатели мало чем могли помочь в этой ситуации, кроме по-медицински точного описания заболевания и определения диагноза: разочарование в прежних идеалах; дезориентация в пространстве, ранее четко ограниченном двумя полюсами - Россией легальной и Россией подпольной; потерянности во времени ("Будущее перестало стоять на своем месте", - выразился один из пяти молодых самоубийц в рассказе А. Грина "Рай", 1909 год) [14].

С восприятием времени вообще стали происходить странные вещи: прошлое захотелось переделать, перенести его в настоящее и подвергнуть суду с новых позиций. В литературе это породило сюжеты, связанные с "оживлением" погибших представителей подполья и легальной России и с перенесением их в послереволюционную среду. Скажем, Л. Семенов описал свидание юной террористки, повешенной за свое преступление, и старого генерала, убитого ею. Они впервые смотрят друг на друга без ненависти: она видит благообразного старика, а он девочку, годящуюся ему во внучки. Они разочарованы в своих "прошлых" жизнях и остро

ощущают бесполезность содеянного [15]. Вся эта история разворачивается на фоне странного нарратива, создающего ощущение бессмысленного потока времени, бессмысленного существования, где нет начала и конца, нет ничего стабильного, ничего святого: "Люди бежали, метались, кричали, обгоняли друг друга, топтали. Все накидывались на игру. Игра была огромная. Игра называлась общественной жизнью. Ставились на ставку жизни, целые состояния, люди. Одни, проигравшие, шли на виселицу, под расстрел, под бомбы, другие стрелялись, топились, третьи величаво сидели, собирая огромные куши и посылая играть за себя других. Самые новые и самые старые, самые последние и самые высокие лозунги были их картами. И все самое молодое, самое дорогое и самое свежее, что только рождалось на земле, сейчас же превращалось здесь в козыри и шло в игру. Тут вместо бубновых и червонных королей я слышал слова о родине, о любви, о государстве, о благе всего народа, о своем человечестве, о Христе и о Боге. Никто уже не знал, откуда эти слова, что они значат, зачем они? Но все знали, что это козыри, что ими можно бить карты и брать взятки. И главное, не в выигрыше вовсе было дело, а всем была нужна сама игра, сам азарт, как и во всякой игре" [15, с. 17, 18].

Прошлое оказалось бессмысленной и даже беспринципной игрой. Будущее перестало стоять на своем месте и непонятно было, зачем жить (разве возможно для интеллигента жить без идеи?!). Все жертвы напрасны, если бы они ожили - осудили бы свое прошлое. Да, собственно говоря, и оживать уже не было необходимости, многое стало и так понятно. В рассказе В. Козлова "Лицо Смерти" (1910) никто не оживает, хотя трупов и крови в этом 27-страничном рассказе столько, что хватило бы на роман. Вначале экспроприаторы бросают бомбу и убивают пять человек (а генерал, на которого покушались, остается жив). Убегая, экспроприаторы убивают и ранят еще несколько человек, бросившихся за ними. В ответ толпа жестоко расправляется с одним из террористов. Подоспевшие полицейские избивают, а затем убивают второго экспроприатора. Террористы-подпольщики без суда вешают подозреваемого в предательстве товарища. В конце концов все трупы привозят в анатомический театр: убийцы и их жертвы лежат рядом, смерть уравнила всех. Нет правых и нет виноватых, нет "идейных" и "жертвенных" [16].

Вот вывод, к которому должен прийти читатель. Но какой затраты душевных сил требовало от него подобное "чтиво"! Ведь интеллигентный российский читатель привык к прямому противопоставлению двух миров, двух типов героев. Он всегда мог отождествить себя с положительным, нормативным идеалом. В свою очередь, прототипы литературных идеальных героев сами заботились о том, чтобы писателям не приходилось кривить душой, создавая свои произведения. Когда коллеги террориста И. Каляева (убийцы Великого князя Сергея Александровича, 1905 год) узнали о его увлечении декадентской поэзией, они усомнились в его нормальности - в буквальном смысле этого слова. Каляев тогда добровольно отправился к психиатру для проверки своего психического и умственного здоровья. Он - герой подпольной России - не мог позволить себе быть странным, "ненормальным", ненормативным [17]. Имея такого героя, читатель не мучился проблемой выбора: даже формально будучи вне подпольной России, вращаясь где-то на ее периферии, он морально принадлежал ей.

Особенно остро проблему выбора для этой категории российских граждан поставила революция 1905-1907 годов, когда каждый должен был решать: принять ли участие в забастовке, в вооруженном восстании и т.п. Необходимость выбора заставила задуматься над тем, что раньше воспринималось автоматически, без сомнений и рефлексии. В итоге стали возможны рассказы типа "Лицо Смерти".

В реальной жизни проблема выбора для многих людей оказалась столь тяжелой и непривычной, что провоцировала психические заболевания. Больного В.И. Ш., 15-летнего рабочего, медицинский отряд подобрал около одной из московских баррикад 13 декабря 1905 года и доставил в центральный полицейский приемный покой для душевнобольных. Тот с воодушевлением поддержал забастовку, но не мог определить своего отношения к вооруженному восстанию. В больнице он страдал от галлю-

цинаций, пел "Боже, Царя храни...". Часто кричал: "Воевать в Маньчжурии вас нет, а терзать людей вы здесь..." [18].

Аналогичная история приключилась с драпировщиком 43 лет. В ноябре 1905 года его отношение к происходящему стало особенно эмоциональным. Он возмущался тем, как много льется крови. В дальнейшем это становится главной темой его бреда: "...Что это несправедливо, что сам он всегда стоял за справедливость и что потому теперь его будут судить... Уверял, что забастовщики, чтобы отомстить ему за его несогласные с ними убеждения, убили его жену... Уверял, что за ним следят его товарищи, которые мстят ему за то, что он высказывался против забастовок..." [19, с. 65].

28-летнего столяра П. Яковлева в Казанскую окружную лечебницу во имя Божией Матери всех скорбящих доставили 27 мая 1905 года. Он все время бормотал, что на улице стреляют, что убили его мать и братьев. Сам Яковлев не принял активного участия в событиях и теперь мучился вопросом: как быть дальше? 19 июня он был выписан "по миновании признаков душевного расстройства", чтобы опять встать перед проблемой выбора [20].

Все эти случаи достаточно однотипны. Рабочие в силу разных причин отказывались следовать нормативному сценарию, который принимало большинство их товарищей. Сама возможность независимых действий вызывала у них страх (страх мести, расправы), а отсутствие альтернативных позитивных сценариев (ведь даже нейтральная позиция с точки зрения подпольной России реакционна) провоцировали фрустрацию, растерянность, а в конечном итоге - психические расстройства.

Документальные свидетельства позволяют говорить о еще одной специфической категории невротиков и психозов - о студенческих психических заболеваниях времен революции. Для студентов - образованных и интеллигентных людей - тоже существовал достаточно четкий нормативный сценарий, которому полагалось следовать в "час X". Они - идеологи движения, пропагандисты. Их место - на революционном митинге, в рабочем кружке.

Вот типичный случай: студент 22 лет возвращается в родной город. Из-за студенческих беспорядков занятия отменены, и он проводит все время на митингах. До определенного момента успешно пропагандировал, но однажды "был остановлен товарищем, который заметил, что больной ведет себя странно и говорит не то, что следует... На другой день был крайне возбужден... себя же всячески старался унижить, говоря, что он даже в сыщики не годен..." [19, с. 65].

Следующая история в точности повторяет первую, хотя подробности происшедшего даже колоритнее. Студент "обнаруживал особо сильное стремление выступать на митингах", пользовался успехом. Утверждал, что за ним следят, носил темные очки, так как иначе "по выражению его лица могут угадать его революционные мысли". Следили за ним, по его словам, не обычные шпионы, а лично гр. С. Витте и министр внутренних дел П. Дурново. При этом то, что он говорил, звучало абсолютно нормально для окружающих: "Если я погибну в борьбе, то дело мое не погибнет и будет жить после меня". Психиатр, описавший этот случай, отмечал, что в разговоре больного то и дело упоминаются "пулеметы, министры, социал-демократы, Наполеон, революция, марксисты и женщины" [19, с. 65. 66].

Очевидно, студенты пытались следовать одному и тому же нормативному сценарию: они не должны стоять в стороне, но роль рядового участника революции им не подходит. Они - идеологи, агитаторы. Понятно, что не все были способны соответствовать нормативному идеалу. Это даже очень естественно. Характерно другое: неспособность соответствовать общепринятой в рамках данной семиосферы Норме оказывалась *тяжелейшим потрясением*, способным нарушить душевное равновесие человека.

Само сумасшествие порой принимало форму обмена нормативных сценариев. Скажем, 30-летняя дворянка из Казани В. Жебровская оказалась в психиатрической лечебнице после того, как объявила друзьям и близким о своей революционной деятельности (медицинское дело открыто 12 декабря 1905 года, больная выписана без

серьезных улучшений 12 сентября 1906 года). Никакого, даже косвенного участия в революционной деятельности она никогда не принимала, но главное не это. Жебровская буквально превратилась в человека из подпольной России: отказалась от семьи и прежних знакомств, утверждала, что распространяла прокламации и теперь ее могут арестовать, избрала себе новое - "еврейское" - имя Вера Бендавид<sup>2</sup>. Больная считала себя еврейкой, "потому что евреи умные и добрые люди" [21]. Среди героинь подпольной России еврейские женщины занимали особое место, они же были популярной мишенью антиреволюционной и антисемитской пропаганды. Представление о революционерке-еврейке могло сформироваться у Жебровской на основе обоих противоречивых "мифов", но в своем сумасшествии она точно следовала нормативному сценарию, созданному в рамках подпольной России<sup>3</sup>. Эту роль она играла почти без ошибок: подобно Каляеву, обратившемуся к психиатру для подтверждения своего психического здоровья, а значит, и революционной "профпригодности", Жебровская-Бендавид придумала историю с прокурором, который собирался оправдать ее как психически больную. В истории болезни записано, что Жебровская отказалась прикрываться душевной болезнью ради того, чтобы избежать ответственности (вся история с прокурором, обвинением и экспертизой - бред Жебровской) [21].

Не менее характерно, что в описанных выше случаях больные студенты-агитаторы успешно пропагандировали на митингах, не сбиваясь с роли. Выдавало их заболевание другое: болезненная шпиономания, странное поведение дома. Но на митингах, т.е. именно там, где по нормативному сценарию они должны были находиться в революционные дни, они вели себя совершенно адекватно, "нормально". Пропагандировали такие пациенты и в психиатрических клиниках. 22 февраля 1907 года врач Казанской лечебницы записал по поводу очередного пациента: "ораторствует на почве социальных вопросов" [23]. В мои намерения не входит уподобление политического митинга в психиатрической лечебнице. Важно другое: больные следовали нормативному сценарию при любых обстоятельствах, и всегда находилась аудитория, готовая их слушать, воспринимавшая их поведение как адекватное. Некоторые пациенты Казанской окружной лечебницы продолжали следить за политическими событиями, читали газеты и, как им казалось, оставались социально активными. "В такое время здесь сидеть грех, - говорил один из них (1905 год). - Нужно принять участие в общем движении" [24].

В данном случае мы имеем дело с явным *снижением* высокого идеализма подпольной России. Революционные события заставили представителей периферии семиосферы подполья примерить одежды нормативного героя. Обычные люди должны были вести себя героически в соответствии с нормативной моделью. Безусловно, такое массовое "воспроизводство" героического поведения привело к инфляции самого революционного героизма. В конце концов не каждый рождается Спиридоновой или Каляевым. И что происходит с обществом, в котором даже пациент психиатрической клиники претендует на роль этакого местного Каляева?

---

<sup>2</sup> В очередной раз мы сталкиваемся с переплетением сферы художественной литературы и "реального" мира. Очевидно, "еврейская" фамилия Бендавид была заимствована Жебровской из повести В. Крестовского "Тамара Бендавид" - истории еврейки, принявшей христианство.

<sup>3</sup> Нормативный образ революционерки-еврейки создавался в нелегальной мемуаристике и в беллетристике конца XIX - начала XX века. В него входили такие элементы, как жертвенность (часто - религиозность), боль за свой народ и, между прочим, яркая внешность, красота. Вот типичное беллетристическое описание (которое никогда не было опубликовано, возможно, как раз из-за банальности и шаблонности текста, претендующего называться "рассказом"): "Вот она... Мы, товарищи, любили ее. как любят цветы, как любят все красивое в мире. Молодая, умная, красивая дочь еврейского народа, угнетаемого испокон веков, она омыла свое сердце его слезами и кровью и отдала себя и свою мысль резвую, смелую угнетенному человечеству. Она ушла к пролетариату... Еврейка умерла и спит в гробу на берегу моря широкого, могучего и безбрежного, как пролетариат, связать с которым так жаждала она свою судьбу..." [22].



Подобного снижения прежние воплощения нормы вынести не могли. Именно поэтому главной темой послереволюционных дискуссий становится поиск нового героя, нового нормативного идеала. Для людей, привыкших мыслить в категориях оппозиции Россия легальная-Россия подпольная, эта задача оказалась чрезвычайно сложной. Понадобились годы коллективных усилий, чтобы принять довольно простую мысль о возможности *одновременного* сосуществования *разных* нормативных сценариев вместо тотального монополизма прежнего всеобъемлющего сценария. Наиболее чуткие пытались осуществить этот прорыв сразу и в одиночку, напроць порвать с традицией и выстроить себя заново. Такой подвиг требовал невероятных душевных усилий, и люди срывались...

23-летний студент-юрист В. Шавгулидзе осенью 1905 года понял, что жить и думать как раньше он больше не может, а по-другому не умеет. Он порвал все старые контакты, перестал посещать митинги и студенческие сходки. По 20 часов в сутки он занимался философией - формировал новое мировоззрение, вместо Гегеля читал Канта, пытался "пересоздавать" себя как индивидуалиста. Параллельно изучил три иностранных языка - видимо, считал, что "новому" человеку этот необходимо. В истории болезни Шавгулидзе записано: "Последнее время по направлению был индивидуалистом-идеалистом, усиленно изучал неокантианство, Канта читал в подлиннике; будучи же больным, не выносил разговоров о социалистах и вообще о политических партиях" [25]. Врач, сделавший эту запись, придавал принципиальное значение философским поискам своего пациента. Но Шавгулидзе заболел очень серьезно, совсем потерял связь с этим миром. Очень опасный эксперимент: сразу отказаться от традиции и остаться наедине с самим собой - опустошенным, торопящимся превратиться в независимую от тотального мира подпольной России личность, в индивидуалиста.

Для многих современников Шавгулидзе самоубийство казалось более легким исходом, по крайней мере оно не требовало глобальной переделки себя. Эпидемия молодежных самоубийств 1907-1912 годов унесла много молодых жизней, среди которых, безусловно, были потенциальные пациенты психиатрических больниц. "Есть сознание, - писала в 1912 году курсистка, - что все наше поколение, пережившее 1905 год, теперь обречено; что нам нечем жить и нечего делать" [26].

Этому поколению предстояло пройти длительный курс "лечения", чтобы снова обрести душевное равновесие и найти опору не во внешней тотальной норме, а в самих себе. С жизнью именно этого поколения связаны широкое распространение психоанализа в России и особая восприимчивость к идеям Фрейда. Русские жаждали заглянуть в себя, распознать свои подсознательные страхи и преодолеть внутренний разлом. "Возвращаясь домой, молодые аналитики находили в обществе, с небывалой быстротой освобождавшемся от старых зависимостей, заинтересованную клиентуру", - писал в предисловии к замечательной книге о психоанализе в России А. Эткинд [2, с. 6]. А в заключение книги он подчеркнул другую мысль: в России "сексуальность в теории и перенос в технике анализа были последовательно замещены проблемами власти, с одной стороны, и сознания - с другой" [2, с. 421]. Видимо, иначе и быть не могло: освобождая свое сознание от господства тотальной нормы, поколение, пережившее 1905-1907 годы, должно было прежде всего переосмыслить свое отношение к власти и к самим себе. Наверное, в этом и состояло излечение: историк тут согласится с психоаналитиком.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Gellner E. Thought and Change. Chicago, 1965.
2. Эткинд А. Эрос невозможного. СПб., 1993.
3. Sass L.A. Madness and Modernism. Insanity in the Light of Modern Art. Literature and Thought. Cambridge, 1992. P. 364.
4. Taylor C. The Moral Topography of the Self // Hermeneutics and Psychological Theory. New Brunswick, 1988. P. 310.

5. *Бехтерев В.М.* О причинах самоубийства и возможной борьбе с ними // Вестник Знания. 1912. №3. С. 258.
6. *Гредескул Н.* Общество. Реакция. Народ // Зарницы. СПб., 1909. Л» 1.
7. *Могильнер М.* Борис Савинков: "подпольная" и "легальная" Россия в перипетиях одной судьбы // Общественные науки и современность. 1995. № 4.
8. Список лошадей, бежавших и выигравших на всех ипподромах России с 1 января 1901 г. по 1 апреля 1909 г. СПб., 1910.
9. *Лотман Ю.М.* О семиосфере // Ученые записки Тартусского гос. университета. Вып. 641. Тарту, 1984. С. 5, 23.
10. *Владимиров В.* Мария Спиридонова. М., 1905. С. 118.
11. *Зиновьева-Аннибал Л.* Помогите вы // Факелы. СПб., 1906.
12. *Вольнов Л.* Как это было // Современник. 1912. № 7.
13. Мир. 1909. №№ 11, 12. С. 5.
14. *Грин А.* Рай // Новый журнал для всех. 1909. № 3. С. 28.
15. *Семенов Л.* У порога неизбежности // Литературно-художественные альманахи изд-ва "Шиповник". Кн. 8. СПб., 1909.
16. *Козлов В.* Лицо Смерти // Альманах "Смерть". СПб., 1910.
17. *Сазонов Е. И.П.* Каляев: из воспоминаний // Памяти Каляева. М., 1918.
18. *Скляр Н.И.* О влиянии текущих политических событий на душевные заболевания // Русский врач. 1906. № 8. С. 223.
19. *Рыбаков Ф.Е.* Душевные расстройства в связи с современными политическими событиями // Русский врач. 1906. № 3.
20. Архив Республиканской психиатрической больницы (РПБ, Казань). Дело о Казанском цеховом Петре Яковлеве. РПБ, архив № 1198, вязка № 24. по описи № 419. (Сноски оформлены по стандартам, принятым в 1905-1912 гг.).
21. Дело о дочери врача Вере Александровне Жебровской (РПБ), архив № 337, вязка № 8, по описи № 1141.
22. *А.Д.* Вы жертвою пали. Рукопись. Государственный архив Российской Федерации. Ф. 1167. Оп. № 1. Ед. хр. 4706. Л. 7.
23. Дело о почтово-телеграфном чиновнике IV разряда Омской телеграфной конторы Федоре Гаврилове Григорьеве (РПБ). Архив № 313, вязка № 5, по описи № 722.
24. Дело о Почетном потомственном гражданине г. Казани Иване Дмитриевиче Чудовском (РПБ). Архив № 1144, вязка № 23, по описи № 759.
25. Дело о студенте Московского университета Валериане Николаевиче Шавгулидзе (РПБ). Архив № 1372, вязка № 22, по описи № 170.
26. *Радин Е.П.* Душевное настроение современной учащейся молодежи по данным Петербургской студенческой анкеты 1912 года. СПб., 1913. С. 35.

© М. Могильнер, 1997